

Аркадий МАКАРОВ

ГУСАРСКИЙ НАСМОРК



18+

@ЭЛИТА



Аркадий Макаров
Гусарский насморк

Электронное издательство "Аэлита"

2015

Макаров А.

Гусарский насморк / А. Макаров — Электронное издательство "Аэлита", 2015

Сборник рассказов «Гусарский насморк» повествует об эротических приключениях основного героя рассказов. Все тексты написаны от первого лица, что придаёт рассказам правдоподобность и доверие к рассказчику. Терпкая эротика юности конца шестидесятых годов прошлого века и бытовые детали возрождают подлинность того времени.

© Макаров А., 2015
© Электронное издательство
"Аэлита", 2015

Содержание

| | |
|--|----|
| Гусарский насморк или, Как я провёл это лето | 5 |
| Обратная связь | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 27 |

Аркадий Макаров

Гусарский насморк. Сборник эротических рассказов

Гусарский насморк или, Как я провёл это лето

Мишка Спицин, в недавнем прошлом подполковник госбезопасности, школьный дружок мой закадычный (вот ведь слово-то какое – «закадычный» – наверное, друг, с которым закладываешь за кадык, то есть пьёшь, тогда Мишка самый настоящий мой закадычный друг) проживал в старом особняке на территории районной больницы. В подвале особняка находился большой оклад лекарств и медоборудования. Дало в том, что мать моего друга работала в больнице главврачом, и квартиру им дали в бывшей хозяйской пристройке – удобно и хорошо. Дом просторный, деревянный, рубленый, подвал тоже просторный, выложенный бутовым камнем – всё сделано не в наше время, то есть на совесть. В этом подвале хранилась также и картошка, и всякие соленья на зиму для семейства столь нужного специалиста.

Ныряя с другом в подвал за припасами, я поражался обилию больших зелёных бутылей с притёртыми стеклянными пробками. Бутылки плотно сидели в плетёных корзинах, простеленные соломой.

Что было в бутылках – мы не знали. Сидят они себе в соломе, ну, и пусть сидят, как куры на яйцах, нам-то что!

Как-то мой друг спросил у матери, что налито в бутылках? Она сказала, что это вшивомор, яд такой для уничтожения насекомых. Ну, вшивомор, так вшивомор! И на этом вопрос был исчерпан.

Мы с дружкой продолжали лазать в подвал, и если прихватывали что, так это витамины и марганцовку. Витамины мы тут же глотали, не беспокоясь о последствиях, а из марганцовки делали светящийся порошок. Рецепт его изготовления весьма прост: как известно из школьного учебника по химии, марганцовокислый калий при нагревании начинает обильно выделять кислород, и если к нему в известных пропорциях подмешать древесный уголь и алюминиевую пудру, то получится взрывная смесь, не уступающая пороху, с яркой магниевой вспышкой.

И вот из этой-то смеси мы делали ракеты: набивали картонную гильзу самодельным порохом, привязывали гильзу к наконечнику стрелы и, предварительно запалив с одного конца, по ночам пускали в небо. А надо признаться, ночи в то время были – глаз выколи. Ни одного фонаря на улице. Электричество ещё не проводили, а местный чахоточный движок на радиозуле был маломощный и питал только одну улицу, где жило районное начальство.

Когда горящая стрела вонзалась в чёрное небо, расцветая яркой вспышкой – зрелище было потрясающее. Я до сих пор удивляюсь, как мы ухитрились никого не спалить? Тут главное – рассчитать запал так, чтобы вспышка происходила на макушке подъёма, на излёте.

С коротким сухим треском разрывалась занавеска ночи, и свет выхватывал из чёрной бездны наши запрокинутые бледные лица да купы чёрных остолбеневших деревьев.

Между белых шапок плесени в холодном погребе зелёные пробки бутылок таинственно и призывно отсвечивали при керосиновой лампе. Если в бутылках яд, то почему нет предупреждающей надписи? Эта простая мысль заставила нас усомниться в подлинности содержимого.

Когда одна из посуды была откупорена, из узкой горловины потянуло знакомым запахом спиртного. В свои пятнадцать лет я уже хорошо знал резкий рябиновый вкус, от которого сразу становилось вольготно и жарко.

Отхватив блестящим скальпелем, которых в подвале было более чем достаточно, кусок тонкого полупрозрачного медицинского шланга, мы с другом без особых хлопот насосали в стоящую рядом колбу граммов триста-четырееста розовой жидкости, безошибочно пахнувшей спиртом, и решили предложить её кому-нибудь на анализ. Самим попробовать было боязно: а вдруг это действительно яд! То, что может отравиться кто-то другой, и в голову не бралось – не доходило.

Я сунул колбу за пазуху, и мы с другом вынырнули на свет Божий, под яркое горячее солнце.

Куда податься? Был у нас один знакомый – дед Шибряй, по прозвищу Клюкало, любитель побаловаться свежатиной из полевых сусликов. Сусячий промысел в то время был основным занятием бондарских школьников, шкурки принимались в заготконторе без ограничений. Сусликов мы отливали водой, шкурки шли в дело, а тушки приносили Шибряю. Он нашим гостинцам радовался необыкновенно. Взвар делал в помойном ведре, другую посуду жена не давала. Клюкало разжигал во дворе под высоким изогнутым таганом костёр, ставил на таган ведро с розоватыми тельцами грызунов, нетерпеливо топтался, загребая деревянной ногой пыльную землю, и, когда ведро закипало, он, блаженно щурясь, широкой щепой снимал с отвара густую пену, подцеплял тушку и, по-кошачьи повернув набок голову, пробовал уцелевшими зубами побелевшее на огне мясо.

За один присест Шибряй мог съесть штук десять-пятнадцать разжиревших на колхозных хлебах зверьков, ну, а ежели под водочку, да с растяжкой, я думаю, десятка три укладывал. Пил он, разумеется, всё подряд, лишь бы булькало и першило в горле. Такого вшивомор не одолеет, дед и ацетон пробовал пить и – ничего, не загнулся...

Товарищ уговаривал меня, а заодно и самого себя, мол, что делать, животные гадостей не пьют, на них опыт не поставишь, остаётся один дед Шибряй по кличке Клюкало, тот всё может.

Уверенные в своём правом деле, мы смело вышагивали по широким улицам Бондарей к пробнику.

У палисадника Шибряева дома путь нам перегородил Колька Манида, здоровенный малый лет двадцати пяти, работавший на радиоузле монтером. Манида славился безотказным утешителем женских судеб. Бабы поговаривали, что Манида в этом деле большой мастер. Он, наверное, уже приложился у Шибряя, и стоял навеселе, широко улыбаясь.

– А-а, привет активистам-онанистам! – Манида растопырил руки, чтобы перехватить нас. – Кто дрочет, тот баб не хочет! А ну-ка, ну-ка, покажите ручки! – гоготал он. – От Дуньки Кулаковой на ладонях шерсть должна расти.

Мишка Спицин с готовностью, как судья на ринге, быстро выбросил руки ладонями вверх. На, мол, смотри – никакой шерсти на ладонях не растёт. Я показал только левую ладонь, а правая рука у меня бережно придерживала за пазухой стеклянную колбу с неизвестным пока продуктом.

Манида, заинтересованный – «чтой-то там у нас за пазухой?», запустил мне под мышку свою лапищу и, прихватив колбу, извлёк посудину на свежий воздух.

– Вот-те раз! – воскликнул он. – К химичке направились с реактивом-то? Ну-ну, привет ей от меня! Скажите, что зайду скоро. Она у меня в очереди на послезавтра – Манида вытащил из колбы бумажную пробку и уткнулся здоровенным носом почти в самую горловину. – Э! Да тут разобраться надо! Никак – це два аш пять о аш? Учил, учил химию! Я у этой Нинки Ивановны всё больше на повторных уроках ума набирался. Любила она меня без обеда оставлять, особенно во вторую смену – без ужина. Ох, и вопросики она мне тогда подкидывала! – от приятных воспоминаний он сладко зажмурился. – Я эту реторту ей сам занесу. Не беспокойтесь. Всё будет – хок-кей!

Крутанув в тяжёлом кулаке колбу, он опрокинул её, сделав несколько глотков, отнял от губ и, скривившись, шумно выдохнул из себя воздух.

Мы опасливо на него поглядывали: что-то будет?

– Н-да! По-моему, боярышником отдаёт. За чистоту реакции не ручаюсь, – он, разомлев, придерживал нас за плечи.

– Очковые ребята! Молотки! А что трением молофью добываете – это ничего. Я и сам иногда для разнообразия этим способом пользуюсь. И – ничего, ничтяк! – он выставил перед нами торчком две большие и загребушие, как совковые лопаты, ладони. – Во! Ни одной шерстинки нет! – колба уже плескалась в его широком кармане. – За посудой потом зайдёте, – и он легонько столкнул нас лбами, повернулся, и крупным неровным шагом подался к своему дому.

Сомнений не было. Мы с другом понимающе переглянулись и, не сговариваясь, двинулись обратно к подвалу. Как говорит дед Шибряй: «Пей, пока пьётся, и гребь, пока гребётся!»

Время шло августовское. Грустно шуршал пожухлый чертополох по краям пустынных огородов. Летние каникулы кончались, скоро идти в школу, и мы решили элегическую эту пору отметить, как водится, хорошей выпивкой, благо продукт проверен: яда не обнаружено.

Весь наш энтузиазм и творческий пыл остудила няня – домработница в семействе главного врача. В этот день она, как на грех, вздумала заниматься засолкой огурцов, и подвал был под её бдительным контролем. Нырнуть туда – никакой возможности. Она, засучив рукава, ошпаривала крутым кипятком у самого входа в вожделенные закрома большую дубовую кадущку.

Няня, заметив нас, строго пригрозила пальцем, и тут же заставила таскать неподъёмные ведра из больничного колодца такой глубины, что он казался бездонным. Мы с ненавистью крутили огромный скрипучий барабан и, плеская на землю, носили бесконечную воду.

Но... был день и была пища.

Наутро, чуть свет, кое-как умывшись, я уже высвистывал под окном своего дружка с намерением осуществить вчерашние замыслы. Долго свистеть не пришлось.

Нырнув в подвал, мы быстренько нацедили в пол-литровую бутылку боярышника, рассовали по карманам картошку, не забыв прихватить огурчиков вчерашнего засола. Дружок мой, вооружившись операционным ножом, на прощанье быстро отхватил приличный шматок домашней копчёной грудинки, висевшей тут же у потолка на чёрном кованом крюке.

После такого набега, тихо просочившись через дверь, мы – огородами-огородами – подались на речку. Там над песчаным свеем, на пустынном крутом берегу Ломовиса, имелась потаённая пещера, вырытая неизвестно кем и неизвестно когда. Это было наше «разбойничье место», где мы играли в свои, не всегда безобидные мальчишеские игры.

В пещере было всё для «культурного» отдыха братьев-разбойников. Ну, во-первых, имелась коробка доброго флотского табака и две курительные трубки, приобретённые по случаю Мишкина дня рождения. Тогда мать, расщедрившись, отвалила ему на морс и леденцы сумму, которой хватило также и на курительные трубки, и на пачку золотого пахучего табака. Табак, дабы он, как и порох, всегда оставался сухим, мы предусмотрительно пересыпали в большую металлическую коробку из-под индийского чая, а трубки, после того, как накурились до одури, спрятали, завернув в газету, под слой перетолчённой рассыпанной на полу соломы, в самый дальний угол.

Котелок, соль, хлеб и спички всегда находились тут же, под рукой, на широкой дощатой полке, расположенной поперёк всей пещеры, в самом торце. Для того времени запас у нас был совсем неплохой, к тому же сухая охапка дров всегда аккуратно пополнялась за счёт того, что плохо лежало на бондарских задворках.

Конечно, для полного антуража нам не хватало какой-нибудь пленницы. Но что поделаешь? Ровесницы нас почему-то не жаловали, а с малолетками, которые крутились под ногами, играть в куклы небезопасно.

У меня была рыбацкая привычка, кстати, сохранившаяся до сих пор – прятать где-нибудь в кепке, или за воротником крючок с леской – так, на всякий случай. Удилище с поплавком сгондобить всегда можно, а рыбка в то время, слава КПСС, водилась.

И вот, пробираясь мимо Миронихиного дома, мы решили наковырять червячков в унавоженной с весны куче, где деловито копались куры. А надо сказать, червяки здесь копались отменные. Их с большим аппетитом глотали не только куры, но и любая рыбная братия. Уха в нашем мероприятии не помешала бы...

Разворошив носком сандалия кучу, мы присели, выбирая насадку пожирнее, но тут моего друга осенила великолепная мысль – что курица в собственном соку нисколько не хуже ухи, а может быть, даже и питательней. Как же могут разбойники, да без дичи?

Быстро размотав тугую, из шёлковой нити, леску, я быстренько насадил толстого с белым поперечным кольцом дождевого червя, извивающегося, как грешник в аду, и мигом подбросил наживку отпрянувшим было курам.

Озадаченно повернув голову, чёрная с ярко-красным гребнем хохлатка клюнула несколько раз обеспокоенного червяка, и тут же разом заглотила его. Ещё не понимая, что случилось, она, икнув, вдруг заполошённо захлопала крыльями и, прижимая голову к земле, заголосила на всё село так, что сидящие в сладкой дрёме вороны с карканьем сорвались с растущей рядом ветлы и закружили, как рваные листы чёрного пергамента.

Подтащив упирающуюся добычу, я на скорую руку сунул под растрёпанное крыло её пламенеющую голову, отчего сразу стало как-то тревожно и тихо.

Воровато оглянувшись, мы, как ни в чём не бывало, продолжали путь к речке по заросшей лопухами меже, держа под неусыпным контролем добычу, которая царапала костяными когтями мне правый бок.

Пещера, в которой мы собирались отметить конец лета, находилась на том берегу Ломовиса, где разросшийся краснотал образовывал непроходимую чащобу. Рядом торчали из воды черные сваи бревенчатого моста. Мост этот был однажды по полой воде разрушен пьяными подрывниками, которые не рассчитали заряда аммонала и вместо льда подняли на воздух мост. Теперь переходить речку приходилось вброд по илистому зыбкому дну.

Ильин день прошёл, олень, как известно, давно нассал в воду, и теперь упругая речная струя стала светлой и знобкой, лезть туда не хотелось, и мы бросили жребий – кому кого придётся переносить на горбу через брод.

То ли друг словчил, то ли так крутанулась у него в руках монета, но идти в воду пришлось мне. Засучив штаны, побрякивая и качаясь под тяжестью Мишкиного тела, я медленно пробирался к другому берегу, уходя по щиколотку в податливую тину.

Притихшая было курица, неожиданно выпорхнув из-под моего пиджака, плюхнулась в воду и, бешено колотя крыльями, крепкими, как гребной винт, бросилась мне под ноги. Удар был такой силы, что мы тут же, все трое, оказались в речке. Наша жертва ещё пыталась выкрикнуть что-то гневное, но вода равнодушно относилась её вниз по течению. Леса была длинной, и курицу унесло далеко, пока она не остановилась, привязанная к моему пальцу.

Фыркая и матерясь, мы перебежали брод, и я стал подтягивать к себе обмякшую добычу.

Теперь-то я понимаю, почему мой школьный товарищ дослужился до столь высокого чина в карающих органах...

Он, не торопясь, подхватил недоутопленную хохлатку, зажал её голову между указательным и средним пальцами правой руки, и резко, как бросают соплю, тряхнул птицу к земле. Через мгновение я с удивлением смотрел на сонно зевающую голову с красной короной в Мишкиной горсти, а внизу, у ног, на влажном песке, выталкивая из хрипящей гортани кровь и что-то брезгливо отстраняя чешуйчатыми лапками, потягивалась в последней истоме чернушка. От шеи к голове в Мишкином кулаке шла необорванной кровавой жилой моя шёлковая леска. Крючок зашёл так глубоко, что пришлось сматывать с пальца леску и протаскивать через неё,

как оторванную пуговицу, клювастую хохлаткину голову. Мишка, размахнувшись, забросил её по ту сторону обломков моста, и она, булькнув, ушла на глубину кормить раков.

Что было делать? Я подхватил за ноги раскрылившуюся добычу, и мы, роняя с одежды неисчислимые капли воды, встряхнувшись по-собачьи, подались на своё «разбойничье место», в наше потаённое логово, где ни одна душа не могла помешать нам сотворить желаемое.

Обогнув по пути топкую лощину, заросшую ивняком и кугой, где паслись, отфыркиваясь и хлеща себя за какие-то провинности несколько колхозных лошадей, которые, увидев нас, обеспокоенно шарахнулись в сторону, мы остановились возле навалившейся на берег раскидистой ветлы у входа в наше обетование.

Бросив на рубчатый песок обвисшую курицу, сложив все пожитки, стянули с себя мокрую одежду, развесили на ветле, и, оставаясь нагишом, с гиканьем на манер туземцев, стали, вскидывая вверх кулаки, разогреваясь, приплясывать вокруг сваленной в кучу добычи.

В самый разгар наших победных кличей мы, загрузив, заметили, что к нам приближается Колька Манида с отвислой папиросой на широкой губе. Он, вероятно, заметил нас раньше, и шёл, любопытствуя, по нашим следам. Вид его был праздный, хотя стоял разгар рабочего дня, и Колька в это время где-нибудь был позарез нужен, это уж точно. Живя по принципу «работа не верёвка – постоит», он частенько отирался с удочкой на Ломовисе. Вот и теперь, остановившись напротив нас, по-свойски улыбаясь после вчерашнего, он резко воткнул удилице в песок возле своей правой ноги и, отстранив его, замер, как племенной вождь с боевым копьём. Вид его был по-отцовски насмешлив и самоуверен, как и подобает вождю.

Мы осторожно замерли, ожидая какого-нибудь подвоха.

– Э, да ты ещё с таким секульком всё живёшь и не застрелишься? – Манида, нагнувшись, как пробуют за сосок умывальник, ладонью снизу вверх потрогал моё полумужское начало.

Я, смутившись до слёз, стоял, не зная что сказать. Надо же ему привалить сюда, теперь всю обедню испортит.

– Ну, ладно, ладно, – великодушно потрепал он меня по плечу. – Не обижайся, у твоего друга тоже только милиционеру на свисток и хватит. Эту штуку надо каждый день тренировать, тогда толк будет, – он, скрестив ноги, опустился там же, где и стоял. – Я вот вам анекдот подкину... Приехала наша партийная делегация в одно дружественное африканское племя. Вождь по такому случаю собрал всех жителей вокруг огромного общего костра, накатили, как и полагается, по котелку тростниковой бузы, человечинной угостили, боевые танцы показали, а как встреча окончилась, туземцы окружили костёр, наши тоже рядышком встали. Задрали аборигены набедренные повязки, ну, и давай из своих шлангов костёр поливать. Обычай у них такой. И нашим знак делают, мол, чего там, давай смелее. Что делать? Международный скандал может выйти. Руководитель делегации расстегнул на бостоновых брюках форточку, вслед за ним все остальные, и тоже присоединились к этому ритуальному акту. Туземцы посмотрели на наших, и хором стали, пританцовывая, кричать: «Бум-булумбум! Ха-хаха! Бум-булумбум! Ха-хаха!» Наши смущённо спрашивают у переводчицы: «Чегой-то они так раскричались?» Переводчица помялась, помялась, да и говорит, что туземцы увидели, чем вы тушите костёр, ну, и стали смеяться, мол, с такими булумбумчиками вы и хотите нас научить коммунизм строить? А вот здесь смеяться надо! – Манида беззлобно ткнул меня кулаком в живот.

Посмотрев на распростёртую курицу, на наши припасы, которые я хотел незаметно отодвинуть в кусты, он покрутил головой:

– Так я смотрю, что-то бабка Миронова к твоему отцу пошла? Злая, как ведьма. Это не её ли курица? – Манида веером поднял одно крыло. – Э, точно её! Таких чернушек у нас в Бондарях больше ни у кого не замечено. Но, я молчок! Ни-ни! – он дурашливо прислонил палец к губам, сделав заговорщицкое лицо. – Один секунд – и мы из неё чехохбили по-бондарски сделаем!

Он весело вытащил из кармана узкий длинный нож и, не обращая внимания на перья, вспорол белеющее куриное гузно, поскрёб что-то там двумя пальцами и, слегка дёрнув, вытащил спутанные, как розовые шнурки, внутренности. Между пальцами, стекая золотом желтка на песок, среди окровавленных лохмотьев, белела раздавленная скорлупа яйца. Будто не замечая поваленной бутылки, Манида подошёл к воде, пустил по течению куриные потроха, и стал промывать вскрытую тушку. Вынув её из воды, он с коротким хрустом переломил ноги, обрезал их, и тоже кинул в речку.

Мы с недоумением смотрели на него. Надо же сначала ощипать перья, а потом потрошить.

– Ну, что зенки вылупили? Марш огонь разжигать! – по-хозяйски приказал он.

Мы быстро разложили сухие дрова, и скоро, весело потрескивая, они занялись зыбким пламенем. Я нырнул в пещеру, принёс пачку соли, и Манида, густо посолив курицу изнутри, стал, к нашему изумлению, смазывать её размокшей синеватой глиной, наковырянной тут же, у берега.

Через минуту-две большой, больше футбольного мяча шар блестел лакированной поверхностью. Внутри шара, как мякоть грецкого ореха, находилась Миронихина чернушка. Манида оставил шар на песке, давая ему немного подвднуть и окрепнуть.

Пока нажигались угля, надо было что-то делать, и я снова полез в пещеру, теперь за куревом. Пока я там копался, набивая трубки, наш благодетель уже сидел по-свойски у костра, сжав мёртвой хваткой бутылку, и терпеливо вдалбливал Мишке правила питания неразбавленного спирта.

– Тут, что главное? Не дышать! – он вытащил зубами бумажную пробку, выплюнул её, поднял бутылку на свет, что-то внимательно разглядывая. – Продукт вчерашний? – мой товарищ с готовностью кивнул. – Ну, тогда смотри и учись, пока я жив! – он вложил в губы узкое, как флейта, горлышко бутылки, и медленно сделал несколько глотков.

Сало и хлеб были под рукой, но Манида не кинулся тут же нажёвывать продукт, а, подняв глаза к небу, длинно, как можно длинно, выдохнул, прислушиваясь к чему-то внутри себя, потом пальцами отщипнул от краюхи хлеба, поднёс щепоть к носу, и так же длинно, и долго-долго, с шумом, всасывал через широкие ноздри воздух, потом откинулся с наслаждением, упираясь руками в песок, и победно поглядел на нас.

Мишка, а он во всём опережал меня, подхватил посудину, зажмурившись, быстро-быстро стал тоже глотать из горлышка.

Запрокинутое лицо скорчилось в гримасе отвращения. Обливая подбородок, ему на голый живот обильной струёй стекала столь редкая влага. Поперхнувшись, он, расплёскивая спирт, чуть не выронил бутылку, которую я тут же подхватил.

Мишка, синевя, со слезами на глазах, всасывал, и никак не мог всосать воздух. С утробным звуком «Ы-ыыы!», он, скребя пальцами песок, лёг на живот и, дотянувшись до воды, стал пощеничь лапать прямо из речки, остужая обожжённый язык и небо.

Я с опаской, приложив бутылку к губам, быстро запрокинул голову и, не дыша, сделал несколько глотков. Сначала вкуса не ощущалось, но потом, когда я резко вытолкнул воздух, то почувствовал, как внутри меня, от гортани и до самого седалища входил, туго поворачиваясь, ржавый железный костыль. Но уже через пять-шесть секунд я наслаждался теплом, которое прорастало в меня из самой-самой моей сердцевины. Затем, нарочито медленно и спокойно, двумя пальцами подхватил сочащуюся пластинку копчёного сала, тщательно наструганного Манидой. Не спеша, отломил кусочек хлеба, и, как ни в чём не бывало, стал с удовольствием жевать.

Манида восхищённо смотрел на меня:

– Ё-моё! Вот это заглотнул! Ну, молоток! Ну, молоток! Наверняка кувалдой будешь. В каких-таких школах ты этому научился? – он только покачивал лохматой головой. Манида,

наверное, не знал, что я с девяти лет ходил с отцом плотничать – помогая ему принести-отнести инструмент, или поддержать доску, одним словом, на подхвате. Я заодно приучался к труду и маленько подкармливался. Не обходилось и без выпивки. Отец – то ли от скуки, то ли забавы ради – иногда плескал мне на доньшко стакана, когда ладилась на работу, или когда размывали руки. Всяко бывало...

Мишка ещё долго сидел, вытирая слёзы и ни к чему не притрагиваясь. Мы с Манидой посмеивались, аппетитно уплетая прокопчённого Мишкиной няней на яблоневого опилках и немного подвяленного на воздухе доброго домашнего сала. Мой друг, глядя на нас с завистью, недолго терпел, и снова, ухватив бутылку за горло, резко опрокинул её в рот. В этот раз у него получилось. Торопливо подхватив сало, он стал тут же глотать его, почти не разжёвывая. Слёзы на глазах ещё не просохли, но Мишка был уже улыбчив, гордо поглядывая на нас.

Манида обеспокоено покосился на поубавившуюся бутылку, вытер губы тыльной стороной ладони, одним махом влил в себя порядочную порцию боярышничкового спирта, занюхал его хлебной коркой и дружески на равных обнял нас за плечи. Всем стало хорошо и уютно.

Весело, как пьяные цыгане в красных одеждах, на чёрных обугленных поленьях плясало пламя.

Жар от костра мы аккуратно сдвинули в сторону, разровняли его, сделав огненный круг, который то потрескивая, разгорался, то покрывался бледным налётом, чтобы через мгновение обнажиться во всём огненном величии.

На этот круг Манида уложил глиняный шар с неошпанной курицей внутри, и сверху тоже стал присыпать его жаром и раскладывать на нём горящие поленья.

То ли от огня, то ли от выпитого, горели – лицо, руки, и почему-то подошвы ног.

На огне глина стала быстро твердеть, покрываясь мелкой сетью трещин, через которые спустя некоторое время стали вырываться маленькими гейзерами пахучие ароматные дымки.

Манида угостился нашим капитанским табачком, и все мы, мирно покуривая, разлеглись на тёплом августовском песочке. От костра и от пригревающего солнца одежда наша стала парить, так что мы скоро могли прикрыть нашу не столь выразительную скромную наготу. Речка, играя холодными солнечными бликами, безразлично спешила мимо нас куда-то по своим делам. Я чувствовал, как хмель, медленно вползая, сладко высасывал меня, словно спелую грушу. Тело, слегка покачиваясь, тихо оторвавшись от земли, таяло и таяло, теряя вес. Ловчее и лучше нас, сидящих вокруг чадающего жжёными перьями костра, никого в мире не было. Вот мы какие – трое мужиков, весёлых и сильных, полёживаем себе на бережку Ломовиса, попыхиваем табачком, попивая спиртягу, и – ничего! Мы молоды и красивы, сама земля прислушивается к нашему разговору, сдобренному лёгким матерком, метким и беззлобным. Сейчас вот расколем этот глиняный орех, эту черепушку, и будем, ломая руками птицу, не спеша жевать душистое мясо, запивая его вином, прощу прощения, спиртом.

Я встал и быстро полез в костёр палкой, чтобы выкатить шипящий и свистящий со всех сторон, как исколотая футбольная камера, горячий глиняный шар, но тут же получил от Маниды по рукам короткой, но хлесткой хворостиной:

– Поперёк батьки в пекло не лезь!

Я, обидевшись до глубины души, отвернулся и чуть не заплакал от жалости к себе – вот... я считал его своим старшим другом, своим товарищем, а он меня по рукам... Но потом неудержимый смех стал сотрясать меня так, что я даже закашлялся.

– Ты чего лыбишься, а? – недоумённо повернул меня к себе Манила. – Чего ты?

– Так надо говорить не «поперёк батьки», а «поперёд батьки», понял, неуч?

Мишка, уяснив суть, тоже покотился по берегу так, что опрокинулся в воду и, матерясь сквозь смех, снова выполз на песок.

Манида растерянно смотрел на нас, не улавливая смысла сказанного, но потом, чтобы замести неловкость, тоже заржал по-лошадиному, сгребая нас с Мишкой в кучу и втискивая в песок.

– Во, падла, грамотеи! Отца хлебать учат!

Одежда, по всей видимости, просохла, и перестала парить; можно облачаться, чтобы прикрыть мужской позор.

– А на хрена попу гармонь, а козе талега!

Мы, гогоча и разбрызгивая вокруг себя воду, бросились в речку. Ледяная вода сначала ошпарила холодом, а потом, нежно обнимая, забаюкала нас на своих ладонях. В небе кружил и кружил, суша крылья, коршун. Он был так одинок, что мне стало жалко его. Я опрокинулся на спину и тоже раскинул руки, вглядываясь в бездонную синь. Бесконечность потрясла меня, и я один в этой бесконечности... А что там, на дне вселенной, да и есть ли оно, это самое дно?

Мои философские измышления сразу и надолго оборвала Мишкина туша, которая, навалившись, опустила меня на самое что ни на есть настоящее осязаемое илистое дно.

... Господи! Как давно это было! Другая жизнь, другая эра. Я с доброй усмешкой, хотя и не без привкуса горечи, вспоминаю свои мальчишеские проделки. Уму непостижимо! Как говорится, куда смотрели семья и школа?!

Вынырнув из родниковой глубины, я торпедой выскочил на берег, завалившись под самый бок костра. Поленья уже прогорели, и я, стуча зубами, норовил влезть в костёр по самые уши.

Душистый запах жареного мяса встал над костром, как джинн из волшебной лампы, призывая к себе. Я вопросительно посмотрел на Маниду.

– На, глотни сначала, согрейся, – он протянул мне бутылку.

Пить не хотелось, но не мог же я смалодушничать перед столь представительным товарищем. Я, зазвякав зубами по стеклу, сделал несколько глотков. Спирт снова обжёт мои внутренности, ввинчиваясь до самых пяток. Я не рассчитал, и доза получилась приличная, земля, накренившись, снова выровнялась, став зыбкой.

Манида, как скарабей, выкатил из костра перед собой шар, подул на него, оставляя немного простыть. Нажёвывать мне пришлось только хлебом, сало прикончили по первому разу. От сухости во рту я никак не мог проглотить хлеб, и он, обдирая гортань, встал поперёк горла. Пришлось снова лезть в речку, глотая по-собачьи, ловить обожжёнными губами набегаящую воду.

Мишка ещё фыркал, как сивуч, плескаясь у самого берега.

Несколько раз окунувшись, я вылез и стал одеваться. Одежда была тёплой и приятно согревала знобкое тело. Мишка последовал моему примеру. Пока мы возились с одеждой, Манида развалил шар на две половины. В одной белело опалое мясо. Перья снялись вместе со скорлупой, запёкшись в ней, и, невыносимо дразня аппетитным духом, курятина лежала, как на блюде.

Мы уселись кружком, с нетерпением ожидая команду нашего покровителя. Тот молча протянул Мишке бутылку, и тот, запрокинув голову, сразу начал глотать боярышниковую настойку, опять поливая себе колени. Манида, видя такое дело, молча потянул бутылку на себя, одновременно подсовывая ему толстую куриную ляжку. Мой друг, сграбастав её, торопливо стал жевать, обжигаясь и урча от удовольствия. Хорошо прожаренное в собственном соку, куриное мясо парило. Мне досталась другая ножка, ну а Манида, на правах хозяина, взял себе гузку. Это чтобы хорошо сидеть. Остальная, хоть и костистая, часть Миронихиной несущки осталась на общак.

Курятина оказалась настолько вкусной, что, помнится, с тех пор я ничего вкуснее не пробовал. Алкоголь, всасываясь в кровь, гонял её гулками толчками по молодому телу. Снова стало жарко, и я расстегнул рубашку до живота.

Лошади, которые паслись неподалёку, то ли ради любопытства, то ли захотелось пообщаться с людьми, прибрели на наш говорок. Обилие матерных слов, видимо, притягивало их. Колхозный конюх Мишка Юхан был виртуоз в этом деле, и лошади шли на привычные звуки – условный рефлекс, если по Павлову.

Коняги подошли совсем близко, обирая под берегом траву и нещадно хлеща себя мётлами хвостов. Пока они самобичевались, мы с любопытством поглядывали на них. Кобылы молодые, резкие в движениях, всё норовили подсунуть головы под шею жоака, стряхивая налипших мошек. Жожак, начиная возбуждаться, тихо, как бы про себя, коротко заржал, поигрывая плотной блестящей, цвета тяжёлой меди, кожей. Беспокойно перебирая задними ногами, он, обнажив большие и крепкие, как морская галька, зубы, игриво покусывал шаловливых подруг и восторженно всхрапывал. Тёмный синеватого отлива ствол медленно выходил из подбрюшья, оттуда, где двумя обкатанными шарами прижались друг к другу чугунные ядра яиц.

Молоденькая цыганистой масти кобылка, подгибая задние ноги, всё опускала, опускала, приседая, круп перед похохатывающей мордой ухажёра. Широко раздутые ноздри, глубокие и тёмные, как омутные воронки, чёрными розами ложились на опущенный круп.

Жеребец то поднимался, то вновь соскальзывал передними ногами с услужливой подруги. Ствол, напрягшись до предела, стал похож на толстый раскалённый стальной стержень, каким он бывает перед закалкой.

Поднимаясь и опускаясь, ствол, пульсируя скрученными жгутами вен, жил отдельно, как бы сам по себе.

Заинтересованные неожиданной картиной, мы, подогретые алкоголем, с любопытством наблюдали – чем всё кончится.

Манида только поцокал языком, приговаривая: мол, гадом буду, если бы имел такой дрын, тут же укатил бы в Сочи, на Чёрное море, деньги заколачивать, а не здесь, в этих грёбанных Бондарях, ошивался.

– Не прибедайся, Колюха, – со знанием дела вставил мой друг. – Небось, наша училка тебя так далеко не отпустит.

Купаясь на речке, мы не раз имели возможность сравнивать свои достоинства о недостижимыми Колькиными.

Жеребец, с налитыми кровью глазами, победно затрубив, придавил широкой грудью податливую подругу, вогнал в неё весь стержень до отказа, и заработал им, как паровозным шатуном. Кобылка, выгнув спину дугой, задрал верхнюю губу и обнажая розовые бугристые дёсна, тихо и утробно урчала.

От возбуждения заскоблив ногами по песку, Мишка опрокинул бутылку, и она, быстро опоражниваясь, покатила под уклон к воде. Вода сначала лизнула её и, наверное, обжигаясь, отпрянула назад, затем снова лизнула и, успокоившись, закачала у самого берега.

Манида с воплем «Чего же ты, сука, наделал!» вскочил на четвереньки, потом одним прыжком достиг воды, но бутылка, накренившись, встала «на попа» и заплясала, как поплавок во время поклёвки. Манида, ещё не сознавая, что делает, стал быстро-быстро черпать пригоршнями воду, где качалась бутылка, и торопливо поднося ко рту, хватать её губами, будто спирт мог находиться там, в набегающей волне. Мы с Мишкой, утробно икая, хохотали отвернувшись, опасаясь схлопотать по шее.

Жеребец, вспугнутый громким криком, сделал резкое движение и вышел из недр подруги, поливая лоснящуюся кожу и примятую пыльную траву белой струёй.

Манида, поняв безнадежность своего дела, встряхивая кистями рук, стал медленно подниматься к нам. Вид его был растерянно-глуповатый – потеря почти полбутылки спирта сбила с него самоуверенность, опьянение его было не настолько глубоким, чтобы притупить чувства. Он сел рядом с нами на корточки, раскачиваясь и глубоко вздыхая. Потом стал в задумчивости раскуривать сигарету. Сигарета в мокрых пальцах отсырела и никак не раскуривалась. Нако-

нец он бросил её в костёр и посмотрел на лошадей. Вороная кобылка ещё кружилась, трясая головой и царапая копытом землю. Жеребец, успокоившись, стоял, медленно вбирая в себя мощное жало, ставшее теперь обвислым, как опорожненный пожарный шланг. Манида, глядя на эту картину, стал понемногу веселеть.

«Кофта белая с плеч свалилася.
О как дорог его поцелуй...»
Блаженно щурясь, вдруг запел он —
Сердце девичье вдруг забилося,
Как увидела я его...

– Мужики! – обратился он к нам, оборвав на полуслове старую прибалтнённую песню. – Мужики, а как насчёт того, чтобы порнуху посмотреть в натуре, как есть?

Мы с другом заинтересованно к нему придвинулись, сопя от предвкушения обещанного. С Манидой можно всё! Видеомагнитофонов в те дни не было, поэтому обещанное обещалось в живом виде.

Вероятно, догадываясь о том, где мы берём спирт, Манида посулил устроить нам эротический сеанс ещё за одну бутылку боярышника. Предполагаемое мероприятие было столь рискованным, что я до сих пор удивляюсь, как оно могло прийти в голову Маниде. Но эта сумасшедшая идея овладела нашим незрелым сознанием, полуобморочным от выпитого и подогретого созерцанием конского ристалища настолько, что мы, разом вскочив, засобирались бежать туда, куда позвали нас случай и Манида.

Но Колька был трезвее и соображал отчётливо.

– Братаны! – высокопарно обратился он к нам. – В село до вечера носа не совать, там вас застукают и сдадут родителям под ремень. Доканчивайте курицу, и в свою берлогу – спать. А вечером, часиков эдак в девять, перед танцами, я жду вас у клуба. И чтобы – молчок! Никому ни слова, а то языки узлами завяжу. Вникли?

Мы, горячо божась, стали убеждать его, что мы – ни-ни, не проболтаемся, суками будем!

Манида, подхватив пиджак, засунул руки в карманы и пошёл с беспечным видом по берегу, напевая свою любимую:

«Он красивым был, и вино любил,
Выпивал за бокалом бокал...» —

раздавалось на пустынном берегу сонного Ломовиса и уносилось дальше, в степь.

Мы, как молодые волчата, радостно поскуливая, вцепились в остов курицы, обобрали всё что было съестного, затем пошвыряли в воду обсосанные кости и осколки глиняной скорлупы с вплавленными в неё перьями. Всё шито-крыто, и – никаких гвоздей!

Положив под головы рванину, которая валялась в пещере, мы завалились на солому прочь от постороннего глаза, посасывая по очереди набитую новым табаком трубку и предвкушая предстоящее приключение.

Проснулись мы зябким вечером, когда над Ломовисом тонкой плёнкой стелилась голубая дымка тумана, и небо из бледного становилось синим, наливаясь вечерним покоем.

Чтобы прийти в себя, выкурили по трубке и подались в село. Пора.

Идти пришлось снова огородами, чтобы наши помятые физиономии кого-нибудь не насторожили. Дошли благополучно, и, воровато нырнув в подвал, в потёмках, не зажигая света, на ощупь, проливая спирт на пол, нацедили бутылку всклень, и, согнувшись ниже линии окон, прошмыгнули мимо Мишкиного дома и, бурьяном-бурьяном, двинулись в клуб на танцы.

Опасливо сторонясь сверстников, я нашёл Маниду танцующим с одной из местных невест. Надо сказать, что бондарские девчата, боясь ославиться, избегали встречи с Манидой, хотя не одна втайне мечтала оказаться в его далеко не скромных объятиях. Вот и теперь скромница на выданье Зинаида Уланова, отстраняясь от Кольки обеими руками, как бы через силу топталась под мелодию танго, втиснувшись в Манидины бёдра. Весь вид Зинки говорил, что вот, мол, ничего я с этим дураком не сделаю, нахал он – да и только!

Манида, увидев меня, бросил растерзанную партнёршу среди зала и зашагал ко мне. Зинка, заливаясь краской, быстро шмыгнула в угол и притаилась там мышкой-норушкой.

Зайдя за угол клуба, мы с Мишкой передали Маниде бутылку, которую он тут же, выдернув пробку, опрокинул в рот.

– Не пьянки для, а опохмелки, бя! – смачно крякнув, он вытер тыльной стороной ладони мокрые губы. – Крепкая, зараза!

На улице была уже спелая августовская ночь. Звезды – по кулаку величиной – развесились, как белые наливки на ветках. Луна огромным красным помидором выкатывалась из-за бугра, отражаясь огненными бликами на мокрых от росы крышах. Как я говорил, электричества в Бондарях ещё не было, и редкие окна жёлтыми бабочками порхали в черноте ночи. Тишина, как огромное байковое одеяло, накрыла с головой всю деревню. Даже собаки, и те замолчали – не с кем спорить.

– К училке вас, что ли, сводить? – скребя затылок, предложил Манида.

Мишка радостно закивал головой, возбуждённо потирая руки. Мне почему-то совсем не хотелось идти к нашей химичке. В моем эротическом воображении для неё не было места. Дня меня она была совсем бесполой, и её вероятное созерцание трепещущей под Манидой не вызывало у меня энтузиазма. Да, к тому же, это небезопасно – вдруг она нас заметит? Тогда – прощай, школа! Выгонят. Я стал, переминаясь с ноги на ногу, отнекиваться.

– Ну, ладно, уговорил! – хлопнул меня по плечу Манида. – Пойдём к Машке Зверевой, та без уговора даёт, – и он, повернувшись, быстро нырнул в темноту. Мы, тычась ему в спину, трусили сзади, задыхаясь от предчувствия приключений.

У Машки в окне света не было, только черные провалы, глубокие, как разинутые глотки, зияли перед нами. Колька постучал коротким условным стуком – никого! Он постучал ещё раз. Было слышно, как скрипнула половица, и кто-то, зевая, шарящим движением стал нащупывать дверную задвижку. Мы с Мишкой быстро нырнули за угол в ожидании своего момента.

На какой-то Колькин вопрос, неразборчивый и короткий – быстрый-быстрый шёпот, и – несколько раз: «Нет, не могу! Гости».

Наш поводырь, матюгнувшись, отлепился от двери, и тут же звякнула щеколда – всё, крышка! Мы разочарованно затрусили за темным Колькиным силуэтом. Куда он теперь?..

Выхватив из темноты клочок света, Манида, остановившись, прикурил от него, протягивая нам мятую пачку. Вытащив по сигарете, мы так же молча раскурили от его огонька, и пошли дальше по середине улицы, загребая ногами невидимую тёплую пыль. Я стал осторожно спрашивать, что за гости у Машки Зверевой, вроде всё время живёт одна, и никаких гостей не принимает...

– Какие там гости! – Манида снова заматерился. – Демонстрация у неё!

Я опешил:

– Какая демонстрация? Седьмое ноября, что ли? Или Первое Мая?

– Какая, какая! Такая, с красными флагами на целых три дня!

Я так ничего и не понял: что за демонстрация у Машки в конце лета, но переспрашивать не стал.

– Так, мужики, верняк! Пойдём к Нинке Чалой, у той охотка всегда есть, – Манида повернул в ближайший переулок, увлекая нас за собой.

Луна вывалилась из-за холма и, наливаясь белым молоком, медленно поднималась над крышами, заглядывая в низкие молчаливые окна: чтой-то там люди делают в такую позднюю пору? А люди стонали, ворочались, храпели, ругались, занимались любовью. Велика матушка-ночь, времени хватит на всех. Стало так светло, что среди замершей листвы раскидистых яблонь светились белые кругляши, но нам сегодня не до яблок, нас ждали другие плоды, от которых, как мы слышали, никогда не бывает оскомины.

Нинкин дом низкий, с осыпанной глиняной штукатуркой, из-под которой, как тюремная решётка, белела крест-на-крест дранка, стоял на Лягушачьей улице, у самой речки. Чувствовалась зябкая влага, запах гниющих водорослей пропитал всё вокруг, потому что здесь на огородах до самой осени не успевали высушить бочажки воды от весеннего разжива. Улица заросла каким-то дуруломом, и надо было раздвигать кусты, пробираясь сквозь росистые джунгли.

В чёрных Нинкиных окнах огненной мухой кружилась красная точка горящей сигареты. Снова не повезло! Ранний гость и здесь опередил нас. Поторчав у дома, мы, спотыкаясь о какие-то корневища, вышли снова в проулок и остановились с намерением разойтись по домам. Манида достал из кармана нашу бутылку, виновато предлагая нам выпить. Дневной хмель никак не хотел отпускать нас, накатываясь и толкаясь мягкой волной в затуманенном сознании.

Ну, что ж, выпить так вылить! Мишка перемахнул через забор под горбатую согбенную яблоню. Через секунду послышалась частая тяжёлая дробь – мой друг помогал старушке освободиться от сладкого груза. Мы с Манидой на всякий случай нырнули под куст. Вдруг хозяин с дробовиком выйдет! Но вот показался товарищ с раздутой на животе рубахой. Действительно, пить без закуски, на сухую, спиртовую настойку – дурной тон.

Обжигаясь спиртом, мы смачно захрумкали сочными августовскими наливками. Вкус яблок после спирта ощущался не сразу, зато потом заливающий гортань сок смывал всякое присутствие алкоголя, и мы, довольные, поощрительно хлопали добытчика по спине. Настроение поднималось, оживление возрастало, поднимались и наши желания. За селом, на самом бугре, обшаривая дорогу светом, шла какая-то припозднившаяся машина. Колька задумчиво посмотрел в её сторону.

– Во, сучара! Как же я про Косматку забыл? – он радостно хлопнул себя по бокам. – Та, наверняка, свободна, падлой буду! Дороги хорошие, шоферня вся по домам ночует. Я как-то по пьяни обещал к ней зайти, теперь самое время.

Катька Семенова, по прозвищу Косматка, дочь которой училась вместе с нами в параллельном классе, содержала нелегальный постоялый двор, или, попросту, притон для всякого бродячего люда, включая всю областную шоферню.

Дело в том, что месяца три-четыре в году наши дороги превращались в сплошное месиво, и транзитные люди неделями маялись у Катьки дома, расплачиваясь с ней кто деньгами, а кто и натурой. Жила Косматка без хлопот и весело, поэтому её дочь, бледная тихоня Маруся, большую часть времени вынуждена была коротать по подружкам и сердобольным соседям. Милиция Косматку не трогала. Милиция сама была не дура погудеть на дармовщину. Самогона у Катьки всегда вдоволь.

Опустив недопитую бутылку снова в карман, Манида с воодушевлением двинулся в сторону базарной площади, где жила в большом, похожем на барак доме, Косматка. Мы, повизгивая, засеменили следом. На этот раз осечки быть не должно, уж очень целеустремлённо вышагивал наш наставник.

Напротив памятника Ленину, прямо там, куда указывал вздетой рукой Ильич, стоял на два крыла с дощатым крыльцом посередине, под крытой серебряной осиновой щепой крышей, такой вот своеобразный дом приезжих. В одном из окон, дразня красным языком, чадила керосиновая лампа с щербатым стеклянным пузырьём. Судя по тому, что окно не зашторено, Катька ночевала одна: постояльцы разъехались, а дочь проводила лето в соседнем селе у какой-то родственницы.

Манида уверенно шагнул на крыльцо и резко звякнул щеколдой.

– Щас, щас! – послышался скорый ответ. Хозяйка, вероятно, без привычки не могла никак заснуть одна. Мы прижались к стене, прячась в тени. Манида, сделав нам знак оставаться, смело шагнул в чёрную пасть сеней. Через миг в окне заметалась огромная лохматая тень, и занавеска тут же была задёрнута.

Манида не появлялся, и никаких знаков нам не посылал. Как две ночные птицы, мы сидели на корточках, покачиваясь в начинающей нас валять дремоте.

Сколько мы просидели – час или больше, – мы не знали, только вдруг упругая струя, ударив где-то рядом, разбудила нас. Манида стоял совсем голый и, широко расставив ноги, мочился на угол дома. Отряхиваясь от брызг, мы быстро вскочили на ноги. Маниду швырнуло в сторону – то ли с испуга, то ли он был пьян под завязку. Он, глядя на нас, ошалело крутанул большой головой:

– Во, петухи гамбургские! Чуть вас не смыл. Чего вскочили, а не кукарекаете? – балагурил он. – Вышел Колька на крыльцо почесать своё лицо... Ну, щас я вам картину Репина покажу, под названием «Не ждали». Пошли! – Манида сверкнув под высокой луной бледным задом, покачиваясь, стал подниматься по ступенькам.

Двери в сени были распахнуты, и мы бесшумно провалились в провонявшую соляркой и бензином темноту. «Как в ЭМТээСе» – подумалось мне. Видно, что постояльцы занимались здесь и мелким ремонтом, чинили свои разбитые «Газоны» и «Зисы», неизбежно оставляя после себя, как обычно, лишние детали.

Резко распахнув избушную дверь, Манида толкнул нас вперёд, и мы оказались в душной комнате, пропахшей срамом и алкоголем, еле освещённой лампой-семилинейкой – были когда-то такие под стеклянными пузырями.

Напротив, прямо перед нами, свесив до пола распахнутые ноги, поперёк кровати лежала Катька Косматка. Головы не было видно, только за голым животом, спущенными футбольными камерами, лежали груди с короткими черными сосками, то ли для того, чтобы надувать эти спущенные камеры, то ли ещё для какой цели.

Между раскинутых ног, я не сразу сообразил что это, топорщилось какое-то тёмное разворошённое гнездо, в середине гнезда маленький розовый птенец жадно раскрывал рот. Зачем он сюда?! Невозможность ситуации приковала нас к половицам. Трудно поверить, что перед нами лежала голая женщина, готовая к исполнению предназначенных ей природой действий.

Манида обнял нас сзади:

– Подходите ближе, она не кусается, – зубов нету, одни губы.

Мы ошалело хлопали глазами.

– А, чего боитесь? Катька уже хорошая! Она почти всю бутылку одна засосала, да ещё самогонки добавила.

Он подошёл и легонько ладошкой пошлёпал по растрёпанному гнезду. Женщина никак не отреагировала, подставляясь нам всей своей срамотой.

– Навались, подешевело! – ёрничал Манида, раздвигая двумя пальцами, указательным и средним, тёмные заросшие губы, и я с ужасом увидел рассечённую зияющую рану, от которой не было сил отвести глаза. Меня почему-то охватила такая дрожь, что застучали зубы.

Мишка меня опередил, расстёгивая трясущимися руками брюки. Он во всём хотел быть первым. Да я и не настаивал на обратном. Колька по-отцовски снисходительно приободрял: «Давай, давай!» – когда мой друг заходил в припадочном экстазе.

... Я помню только непролазный чертополох и заросли колючей ежевики, потом какое-то чавкающее болото, в котором я тонул и задыхался. И – всё!

Мне показалось, что пьяная растрёпанная женщина лишь притворялась таковой. Когда я пробирался сквозь кустарник, тонул и задыхался, мне послышалось тихое хихиканье.

От стыда, от неотвратимости сделанного, я, не обращая внимания на ободряющие восклицания Манилы, пулей выскочил на улицу.

Страшная белая ночь стояла передо мной. Какая-то неестественность белых крыш, домов, деревьев. Не помню, как я очутился на берегу Ломовиса. Тишина и чёрная вода омута. Липкие нечистоты сочились из каждой моей поры. Я не мог прикоснуться сам к себе без омерзения. Скинув на холодный песок одежду, я стоял перед наполненной ночным страхом тёмной водой, с неотвратимым желанием соскрести ногтями с себя эти нечистоты и смыть их водой. Закрыв глаза, я шагнул по пояс в крошечную тьму, которая неожиданно показалась мне ласковой и тёплой.

Набрав полные горсти песка и ила, я стал оттирать себя, как грязную закопчённую утварь. Раскапюшонив свой мужской придаток, я опорожнял его, пустив омерзительную струю вниз по течению. Потом, как старый позеленевший самоварный кран, я натёр его песком, илом, листьями мать-и-мачехи, росшей здесь же. Морщась от боли, стал промывать водой эту погань, этого дождевого червя, эту мразь.

Луна дробилась подо мной и разбегалась рыбной мелочью, поблёскивая на речной ряби.

Плескаясь и моясь снова и снова, я не выходил из воды, пока меня не стала колотить холодная дрожь. Огородами, огородами я добежал до своего дома, быстро нырнул в сарай, где спал почти всё лето на сеновале.

После купания всё, что произошло со мной, стало казаться дурным сном. Такого быть не может, потому что такого не может быть! Какое-то кошмарное наваждение!

Уткнувшись носом в тёплую подушку, я проспал до обеда, пока солнце не накалило крышу, и стало нестерпимо жарко. Вчерашнего происшествия не было – молодость забывчива. Вечером я уехал с отцом на целых два дня в лес, где для нас была выделена делянка, заготавливать дрова на долгую зиму. Наломавшись в лесу, я вернулся домой усталый и счастливый: дурной сон забылся, и я снова почувствовал себя свободным и неуязвимым.

Перед ужином ко мне пришёл Мишка Спицин, вид его был озабоченный. За домом, где мы курили, он, затянувшись, качнул годовой:

– Во, ёлки, чего-то молофья у меня с конца выделяется, и режет как-то...

Хотя мы были и одногодками, но Мишка, то ли от хорошего питания, то ли порода такая, рос быстро и крепко. Он был почти на голову выше меня, и в плечах пошире. Ночные видения, от которых становилось тревожно и сладостно, у него появились гораздо раньше моего, и происходили чаще. В этом я ему всегда завидовал и с интересом слушал очередные сновидения.

– Ну-ка, покажи! – заинтересовался я. Он расчехлил свой вполне приличных размеров ствол и надавил на конец.

– Во, ёлки! Мокнет чего-то, а не щекотно, как всегда...

Я его успокоил, говоря, что это, наверное, так должно и быть, если во сне бывает – мужская сила выходит. Мишка немного приободрился, и на время тема была забыта.

На другой день утром, покуривая под сиреневым кустом во дворе у друга, мы сквозь железные прутья ограды увидели непривычно озабоченное лицо шагавшего к Мишкиному дому Кольки Маниды.

Он, не замечая нас, остановился в раздумье у калитки с намерением открыть. Я тихонько и протяжно свистнул, Манида, вздрогнув, резко повернул голову на свист, но, не заметив нас, снова потянулся рукой к калитке. Я снова свистнул, высовываясь из-за куста. Манида подозвал нас кивком к себе. Вид его был удручённый и хмурый. «Что-то случилось?» – подумал я.

Перед тем, как идти к Мишке, мне пришлось заглянуть в наш сельповский магазин, чтобы купить сигарет. Деньги, хоть и малые, у нас были общие, и на курево всегда хватало. Возле магазина меня чуть не сшибла с ног спешившая куда-то Катька Косматка, лицо её было, как от зубной боли, перетянута белым в горошку платком, а под глазом чернел кровоподтёк таких размеров, что его, кажется, не прикрыть и ладонью.

– Челюсть сломала. Говорит, в погреб сорвалась, – на мой осторожный вопрос сказала Светка Дубовицкая, наша сельмаговская продавщица, безнадёжными поклонниками которой были все местные кавалеры. «Прынца ждёт!» – говорили про неё завистливые бабы. Местные – пьянь и рвань, ей не подходили, а других не было...

Светка, погрозив мне пальчиком с ярким и маленьким, как божья коровка, ноготком, незаметно сунула пачку болгарских сигарет, и я подался к товарищу, соображая по дороге, как можно в одно и то же время сломать челюсть и получить под глаз фингал?

Мы подошли к Маниде, которому сегодня явно не до шуток, и весело поздоровались. Он как-то пристально посмотрел на нас и повёл за угол больничной прачечной, которая стояла напротив Мишкиного дома в зарослях вездесущей сирени.

– Ну-ка, покажи! – непривычно сухо сказал Манида, обращаясь ко мне, как только мы завернули за угол дома.

– Чего показать-то? – недоуменно спросил я.

– Чего-чего? Секулёк покажи!

– На, смотри! – я, что есть силы, нажал, выдаивая свой сосок.

– Не режет? – заботливо спросил Манида.

– Режет не режет, а так, иногда чешется.

– Ну, если чешется, то это нормально, – похлопал меня по плечу повеселевший Манида.

– Ну-ка, а ты достань! – обратился он к Мишке.

Мишка с готовностью расстегнул брюки. Лицо Маниды сразу сделалось белым, и он опустился по стене на корточки, вытирая спиной побелку.

– Всё. Трубочное дело! Я так и знал! – трясущимися руками он вытащил из пачки тугую гильзу сигареты.

– Ребята, – обратился он к нам. – Никому ничего не рассказывайте, иначе мне – завязки, крышка будет. Триппером сука наградила! – он зло сплюнул в кучу битого щебня.

Теперь-то я понимаю, почему так испугался наш старший товарищ и наставник Манида. Я забыл сказать, что отчим у Мишки Спицина был большим человеком в нашем райкоме партии, взглядов далеко не либеральных. Узнай, каким образом его пасынок в пятнадцать лет поймал эту птичью болезнь, то он, я думаю, смог бы довести дело до логического конца, в котором место Кольке по кличке «Манида» наверняка было на нарах возле параша. За пособничество в совращении несовершеннолетних ему грозили бы, как поётся в одной песне, «срока огромные».

После некоторого молчания Манида снова заговорил:

– Мужики, а там, где вы спирт качали, ещё какие-нибудь лекарства есть?

– Да там навалом всего! – хором ответили мы.

– Вот что, братцы, – Манида немного приободрился, – пошарьте там пенициллина и шприцы, да новокаин не забудьте, я эту сучью болезнь сразу вышибу! У меня кореш один в армии фельдшером служил, я видел, как он говнорею лечил – по два укола в день, и всё шито-крыто, а то мне – вилы! – он выразительно воткнул два растопыренных пальца себе в шею, красноречиво показывая, что ему будет, если нас не вылечит.

Без лишних слов, поняв всё, как есть, мы быстро шмыгнули снова к Мишке во двор. Как на грех, во дворе топталась няня, и сунуться в подвал незаметно не представлялось возможным.

– Чегой-то этот ухарь к вам привязался? Чегой-то он тут шныряет? – подозрительно строго обратилась она к нам. – Какие-такие вы ему товарищи?

Мишка начал нести какую-то ахию про вечернюю школу, про помощь рабочей молодёжи, про шефство над переростками...

– Смотри, Михаил, доиграешься. Всё матери расскажу. Курить, стервец, начал.

Она, ещё что-то бурча себе под нос, наконец зашла в дом.

Мы знали, что няня ни при каких обстоятельствах жаловаться на Мишку не станет, и со спокойной совестью нырнули в подвал, на всякий случай закрывшись изнутри на крючок.

Пенициллин мы обнаружили сразу, в плотной картонной упаковке, заклеенной полоской бумаги с соответствующей надписью, а шприцы пришлось искать долго, распарывая какие-то пакеты и пакетики. Наконец нашли коробку, в которой лежали стеклянные цилиндрики шприцов и, в отдельной упаковке, иголки к ним. а в отдельной упаковке – большие ампулы новокаина. Мы, на всякий случай, прихватили всю коробку, мало ли ещё когда-нибудь для чего-то потребуются?

Подойдя к двери, мы услышали во дворе топтанье няни и её глухой голос, отчитывающий, наверно, кур, которые, проскакивая сквозь металлические прутья ограды, расклёвывали литые, как пули, огурцы. Мы притаились, прислушиваясь. Только бы ей не вздумалось запереть подвал снаружи! Тогда всё – пропало дело! Но, наконец, ворчанье прекратилось, и Мишка первый, на правах хозяина приоткрыв дверь, быстро вынырнул наружу, а я с коробками остался сидеть в темноте. Мишка долго не давал о себе знать, наверно, ждал, пока няня не успокоиться и снова не уйдёт в дом. Наконец дверь открылась, и я прошмыгнул в щель, щурясь от ударившего по глазам света.

Колька нас ждал там же, за прачечной, сидя на корточках и мрачно сплёвывая себе под ноги, цыкая сквозь зубы. Я сунул ему в руки коробки. Манила раскрыв одну с пенициллином.

– Э, да тут на всю жизнь хватит от триппера лечиться! Ну, теперь всё в порядке, аккумулятор на зарядке! Двигаем! – приказал он нам, вставая. Мы молча потопали следом.

За селом, недалеко от того места, где теперь над Большим Ломовисом летит бетонный мост, стояла старая, ещё времён коллективизации, рига. После объединения мелких колхозов рига осталась брошенной, и там, кроме мышей, в перегнившей соломе ничего не водилось. Правда, крыша была вся изрыта воробьями, которые ныряли в неё прямо с лёту.

В эту ригу и привёл нас Манида.

Встряхивая кистями рук, как бы сбрасывая с них паразитов-микробов, Манида достал из одной коробки стеклянный с градуировкой цилиндрок шприца, ловко ввернул в него тонкую стальную иглу, достал из коробки опечатанный алюминиевой нащёпкой маленький низкий пузырёк с пенициллином и одну ампулу новокаина. Отколол стеклянный кончик ампулы, набрал растворитель в шприц и, не распечатывая пузырёк с белым порошком пенициллина, вонзил прямо в опечатку блестящую иглу, затем перевернул пузырёк кверху дном, и стал медленно закачивать туда новокаин. Раствор теперь стал приобретать беловатый цвет. Манида снова вобрал содержимое пузырька в шприц. На мой молчаливый вопрос – сказал: «Так надо!» Вытащив иглу, он большим пальцем снова нажал на шприц, и тонкая светлая струя быстро прыгнула вверх.

– Так! Подставляй задницу, – обратился лекарь-самоучка к другу. Тот, боязливо поглядывая на иглу, стал стягивать штаны.

– Раком! Раком становись! Чтоб удобнее ширять.

Мишка с обречённым видом встал на четвереньки, подставляясь под Колькину иглу.

– Во, тля! Задницу продезинфицировать надо! Вы бы ещё спиртыги принесли для протирки, – Манида остановился на полпути с изготовленной иглой.

– Может, мочой промыть? – предложил я. – Она, как я читал, раны помогает заживлять...

Манида задумался:

– Не, не пойдёт мочой. Она триппером загажена.

– Так у меня-то пока ничего не капает. Может, зараза не пристала?

Манида почесал концом иглы на шприце голову:

– А чё? Может, и верно? Зараза к заразе не пристаёт. Ну-ка давай, дезинфицируй!

Я направил свою струю на посиневший Мишкин зад.

– Что же ты, гад, делаешь? Все штаны залил. Ты ватой давай! – почему-то глухим голосом заговорил мой друг.

Вытащив клочок ваты из коробки, я смочил её мочой, и стал протирать Мишкину кожу.

– Ну-ка, – отстранил меня локтем Манида, и резко, в один приём, вогнал иглу в бледную шершавую ягодицу.

Мишка от внезапной боли изогнулся дугой, матерясь и подвывая сквозь зубы, по-волчьи задрал голову. Манида бесконечно медленно давил на поршень, опорожня шприц. «Ы-ыы-ыы!» – только и было слышно.

Вытащив иглу, Манида кивком головы приказал и мне встать на четвереньки.

– Давай, давай! Для профилактики!

Я нагнулся, упёршись головой в крышу.

Манида, достав новый пузырёк, проделал с ним то же, что и с первым, опорожнил его, и приказал мне не скулить. Через секунду я почувствовал, что мою ягодицу прошили гвоздём, и в эту пробоину стали закачивать кипяток. Было нестерпимо горячо и больно одновременно. Я, стиснув зубы, со стоном замотал головой.

Как вышла игла, я не заметил, но задница у меня ныла, как отшибленная. Я еле распрямил ноги.

Пока я, оглядываясь, приходил в себя, Манида со спущенными до пяток брюками, присев на какую-то колоду, обжигал спичкой конец иглы. Пузырёк с пенициллином был зажат у него между коленей. Я, подтаскивая правую ногу, подошёл было к нему со своими услугами.

– Не, я сам. Надёжности больше! – Он высосал шприцем ещё один пузырёк, и медленно, не дрогнув ни одним мускулом, загнал себе иглу во внутреннюю сторону ляжки, почти в самый пах.

Мишка, большими затылками глотая дым, постанывал, раскуривая сигарету. Манила застегнул брюки, подхватил под мышки коробки с медикаментами, и вышел из риги, сказав, чтобы мы были снова здесь в пять часов, для вечернего сеанса терапии.

... Была ли у меня грязная болезнь, я не знаю, но огромный, в кулак, абсцесс на месте укола я подхватил, и его пришлось резать в больнице, у Мишкиной матери, а пока мы с другом, хромя, волочились по Бондарям, матерясь и проклиная половую жизнь.

– Маль-чи-ки! – остановил нас певучий голос классной руководительницы Поповой Нины Александровны. Она вела у нас уроки русского языка и литературы. Молоденькая, краснощёкая, она была любимицей всех ребят. – Мальчики, завтра первое сентября, не забудьте прийти в школу, – распевая слова, говорила она, когда мы, как по команде, остановились у её дома, где она квартировала. – А в футбол надо поаккуратнее, поаккуратнее, я же вам говорила, вот и ноги были бы целы...

– Мальчики! – снова пропела она нам вслед. – Я жду от вас содержательных сочинений на тему: «Как я провёл летние каникулы», и чтобы с прологом, с прологом было!

Не знаю, как с прологом, но эпилог был...

Простите меня, дорогая Нина Александровна! Не выполнил тогда я Ваше задание. Не написал сочинение. Сочинение написалось много-много лет позже. Вот оно.

Обратная связь

– Ну, что, ёк-макарёк, всё читаешь? Учёным хочешь быть? Наука... Нами, работягами, брезговать начнёшь, а? – надо мной склонилась весёлая, как всегда, морда Вити Мухомора. Кличка у него подходящая. За что она к нему прилепилась, не знаю – то ли за рыжую голову, то ли за большое, почти во всю щеку родимое пятно цвета красной меди, то ли ещё за что, но кличка к нему прикипела и припаялась так, что, думаю, он её за всю жизнь отодрать не сумеет. Может, Витьку прозвали так обидно еще и за то, что он имел исключительную способность к ловле мух. Бывало, придёшь в обеденный перерыв в столовую, отстоишь приличную очередь, только примостишься, а Витька уже рядом с подносом подъезжает. Разложит тарелки и горстью так – чирк! – перед носом, и вот она, муха, как есть, в твоей тарелке плавает, облитая жиром, вся розовая от наваристого борща. Идти на кухню просить замену – только оскандалишься, а есть почти расхотелось. Ребята за это бить его не били, а обедать с ним вместе избегали. А я, по молодости, и на его кивок головой – мол, присаживайся, чего там, я ведь для тебя только место держу, – вздохнув, всегда садился рядом. Витя действовал безошибочно. Он видел, что рядом столы все заняты, а я на приглашение отказаться не сумею, неудобно – ещё деликатность от школьной парты оставалась, не всё выветрилось, хотя ветерок в голове погуливал. И вот, помявшись, я садился рядом с Мухомором, чтобы тут же получить в тарелку невесть откуда взявшуюся очередную жужжалку. В таких случаях я отодвигал тарелку, а мой сосед, вопросительно посмотрев на меня, спокойно доедал борщ, обозвав меня презрительно «интеллигентиком и наукой». Мне ничего не оставалось, как приняться за второе, пока руки у Мухомора заняты.

Витя, оставив в милиции права на вождение автомобиля, работал у нас в бригаде подсобником, на подхвате, как говорил бригадир. После шофёрских неперенных шабашек здесь ему было скучновато, и он, доставив на объект кислород, металл, пропан, разные заготовки и метизы, обычно примачивался в бытовке на ящиках, прикрытых всякой рухлядью, возле раскоряченного «козла» с пылающей нихромовой спиралью и подрёмывал, посасывая вечную «беломорину». Жил он со мной в одной комнате, и по-своему уважал – за мою, по сравнению с ним, начитанность.

Меня в бригаде, как самого грамотного, ставили всегда на разметку заготовок. Работа, надо сказать, муторная – перенести все размеры деталей с чертежа на металл, и напарафиненным мелом, не боящимся воды и дождя, вычертить детали в натуральную величину. Не дай Бог ошибиться! Да если таких деталей штук пятьдесят-шестьдесят, а то и сотня, да загробишь металл... От бригады в лучшем случае получишь по шее, а в худшем – стоимость металла могут вычислить из твоей зарплаты, которую и без этого тянешь, как резину, до конца месяца, и не всегда дотягиваешь.

Работа, что ни говори, препаскуднейшая. Особенно зимой. В рукавицах ни метра, ни штангенциркуля руками не удержишь, а без рукавиц пальцы так скрючит, что ширинку по малой нужде не расстегнёшь, хоть зови кого. Придёшь, бывало, в бытовку, и за раскалённую спираль чуть ли не хватаешься. Ботинки не стащишь – носки к подошвам примерзают. Ноги в отрубе, задубели, а Витя Мухомор лежит-полёживается, да зубы скалит, «Ну, как, – говорит, – «Наука», – это он меня всегда так называет в хорошем настроении, – когда стоит мороз трескучий, стоит ли член на всякий случай?» Я посылал его в сакраментальное место, состоящее из пяти букв, но Мухомор на меня за это не обижался, только всегда говорил, что там хорошо, как в бане – тепло и сыро.

Со мной и Витей Мухомором в одной комнате жил ещё Иван Поддубный, по первой кличке «Бурлак», коренной волжанин, бывший капитан речного флота. Фуражка с крабом – это всё, что осталось от его прежней жизни. Посадив по пьяни пароход на мель, он сбежал от

ответственности и осел у нас на стройке, забыв в управлении Речного Флота свою трудовую книжку. Делать он ничего не умел, а силёнки были о-го-го какие! Вот его и взяли бетонщиком, лопату он держал хорошо. Работа бетонщиком – одна грабиловка. С вибратором так натаскаешься, что потом руки долго ходуном ходят. Еда нужна калорийная, а денег обычно хватало на щи из костного бульона, да на гарнир. Кабы не пить, доставало бы и на мясо в щах, и на котлету. Но это – кабы не пить...

Иван Поддубный был человек многоопытный, прошедший вдоль и поперёк школу жизни. Обычно с получки он, пока был трезв, приобретал несколько бутылок рыбьего жира, который в то время шёл за бесценок в любой аптеке. Водку пил, не оглядываясь на завтра, а рыбий жир берег до случая. Когда кончались деньги даже на макароны, он подпитывался рыбьим жиром. Бывало, встанет с утра, брухнётся нечёсаной головой, схватит одной рукой себя за волосы, а другой – за рыбий жир. Мучительно скосоротится, сделает тройку глотков – вот и позавтракал, вот и ничего, вот и работать можно. Бурлак знал, что делал...

Такие были мои первые учителя-наставники, которых я никогда не забуду.

В то время я учился в вечернем техникуме, прилежания особенного не было, но время занято, что спасало меня от почти ежедневных пьянок. Но слаб человек перед соблазном!

Сегодня мне почему-то в техникум идти не захотелось – в такую погоду хозяин собак не выгоняет, и я, отложив в сторону учебник, уставился на Витю Мухомора, гадая, куда это он так вырядился? Бурлак в это время смазывал рыбьим жиром рабочие – на толстой антивибрационной подошве, других не было, – ботинки, тоже готовясь в культпоход.

И Мухомор и Бурлак были трезвыми и голодными – значит, опять пойдут к торфушкам, так они называли женщин на кирпичном заводе, которые могли покормить и обиходить всего за один щипок любого неприкаянного холостяка.

«Торфушки» – распространённое в то время название всех женщин и девчат, которые были либо завербованы, либо по комсомольским путёвкам, что, в общем-то, одно и то же, прибывших в город на тяжёлые условия труда в основном из сельской местности. Тогда только так и можно было вырваться из колхозного ярма, получив паспорт. Значит, в колхозной круговерти ещё хуже, чем грабиловка подсобниками на стройках, на дорожных участках, на торфяных разработках и лесоповале. Там какие-то деньги, но платили.

Перемещённые, если можно так назвать, женщины, были в основном или разведёнки, или девицы-оторвы, которые, вздохнув свободы, без родительского глаза готовы были возместить потерянные возможности деревенской юности, где каждая на виду, и надо во что бы то ни стало блюсти себя и, если уж под кого лечь, то непременно после соответствующей расписки в сельсовете. Хотя и тогда было всякое...

Торфушки, куда собрались мои старшие товарищи, жили там же, прямо на кирпичном заводе, где и работали, в длинном сарае для сушки кирпича, наскоро переделанном в жилой барак с отсеками на четыре-пять человек. В каждом отсеке стояла печь, прожорливая и бокастая, которую девчата кормили дармовым углём, взятым здесь же, у печей обжига.

Кирпичный завод от нашего общежития располагался километра за полтора, если идти по железнодорожному пути, проложенному для промышленных перевозок. Стоял февраль месяц, самый метельный месяц зимы, и сегодняшней вечер был соответствующий. Ошмётки снега глухо ударялись в стекло и шумно сползали, подтаявшие и обессиленные. Идти куда-то в такую погоду, чтобы похлебать щей, хотя и мой желудок требовал насыщения, не хотелось, и я, отвернувшись к стене, молча разглядывая винные разводы на побелке.

Это всё Бурлак. Затеяв ссору с Мухомором, запустил в него бутылкой. Мухомор увернулся, а бутылка с остатками вермута врезалась в стену, плеснув брызгами стекла мне на спину, когда я молча но с волнением ждал, чем кончится ссора. Мухомор в ответ протянул Бурлаку сигарету, и тот сразу обмяк, успокоился, послав меня гонцом в магазин за очередной поллитрой.

Мировую с ними пришлось пить и мне, как свидетелю.

– Эх, Наука ты, Наука, п...да тебя родила, а не мама! Вот коптишь ты на свете семнадцать лет, а бабу ни разу... – тут Мухомор сделал соответствующий жест, оформив его известными словами.

– Отчаль от него! Не трогай парня! – Бурлак разогнулся, кончив протирать ботинки, поставил бутылку с рыбьим жиром на подоконник и повесил полотенце на спинку кровати.

– Иван, Лялкин Жбан, снова загремел в отсидку, а какого – бабе одной маяться? И стосковалась, поди, по скоромному-то. Живая душа, – Витя Мухомор стал стягивать с меня одеяло. – Давай возьмём Науку, нюх наведём, чтобы он, кутак, бабу за километр чуял, а?

Что имел в виду Мухомор под словом «кутак», я не знал, и совсем не знал, что на этот выпад ответить? Хотя года два назад один интересный случай по этому поводу имел место. Дело было летом, в каникулы, когда каждый школьник чувствует себя вольным и отвязанным. Все мои друзья в это время ночевали по сараям, чердакам, или просто так, под звёздным небом. Я тоже норовил проводить летние ночи вне дома. На жухлом прошлогоднем сене валялся мехом наружу старый отцовский полушубок, который и служил мне постелью. Под голову годилась и телогрейка. Спать приходилось мало, зато сон был здоровым и крепким, Разбудить – стоило больших трудов, а дел летом в деревне всегда по горло.

Преимущества ночёвки без родительского глаза очевидны – ночь вся твоя. И ночь была наша. Обшаривались, хотя тогда ещё немногочисленные, но урожайные, сады, грядки и огороды, курился табачок, жглись костры...

А девочки тоже ночевали на прошлогоднем сене, на воздухе, под лунным тревожным светом.

А лунными ночами, да под соловьиный свист разве усидишь, разве удержится на отцовском колушке, когда тебе 15–16 лет, груди выше маминых, а ножки просят ласковых услад и всё, связанное с этим. Как говориться, залётки в самом соку, – действуй!

Некоторые мои ровесники в этом деле уже преуспевали, а меня робость ещё одолевала, стеснительный был – как теперь говорят, недоразвитый. Я девочек в сарай не водил, но они моими услугами пользовались, а кое-кто даже злоупотреблял.

В моей сговорчивости особенно нуждалась одна, юная и красивая, не по годам развитая одноклассница, та, за которой тянулся шлейф всевозможных любовных приключений. В кровь разбивая носы друг другу, не раз сходились из-за неё наши бондарские парни. Боясь строгого отца, моя подруга после ночных бдений украдкой пробиралась домой, и, чтобы не стучать в дверь, просила меня ждать её возвращения. Тогда я должен осторожно перелезть через высокий забор (спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором...) и, отодвинув засов, открыть ей во двор калитку. Она бесшумно проскальзывала в щёлочку, шу-шу – уже на сеновале, уже спит, а я с чувством исполненного долга шёл к себе, прокручивая в мозгу варианты любовных затей с той одноклассницей, хотя в действительности дальше рукопожатий у нас с ней не заходило. Какой ей прок от такого молокососа, каким был я. То ли дело мой сосед Петька Дрын! У того на каждой руке по десять пальцев, и все в деле, не считая того существенного, за которое он получил характерную кличку.

Дрын – курсант пехотного училища, ходил в красных погонах, в окантованной фуражке со звездой, видный парень с казённым будущим, любимец всех тещ. Вот и увлеклась моя подруга на время Петькой. «Он целуется хорошо, и всегда взасос» – говорила она мне каждый раз, когда возвращалась под утро к себе домой.

И вот сижу я, значит, в кустах, жду назначенного часа, когда вернётся со свидания моя подружка, сунет холодные ладони мне под рубашку, согреется и – шмыг в калиточку, и дверь на задвижку – всё, как и было, чин-чинарём.

То ли в тот раз я задремал, то ли слишком задумался, но возвращение маленькой блудницы я прозевал. Стояла лунная ночь, набитая соловьями, под каждым кустом свой певун, свой

горлодёр. Вот и я, чтобы не маячить перед домом и не вызывать у отца моей одноклассницы сомнений, уселся в тени, размышляя о девичьей чести и о той допустимой границе, которую могла соблюдать моя, непостоянная а своих связях, подружка.

Меня вывел из забытья характерный звук упругой струи, ударившей в землю. Повернувшись, я увидел, как подружка, присев на корточки, на самом лунном пятачке справляла малую нужду.

Я тихо и протяжно, как условлено, свистнул. Она быстро вспорхнула ночной бабочкой, мелькнув белым платицем у меня перед глазами.

– Фу, какой противный! Нехорошо за девочками подглядывать – и она легонько шлёпнула меня ладошкой по щеке. – Стыдно, небось?

Я что-то торопливо стал говорить в своё оправдание – что, вот, заснул малость и ничего не видел.

Она крутанулась передо мной на пальчиках так, что подол платья взлетел белым венчиком, обнажая до самых трусиков её, ослепительные от лунного света, точёные ножки.

У меня всё поплыло перед глазами, как будто это я сам кружусь на лунном облачке соловиной ночью.

– Ну, как я? – она по привычке сунула мне под рубаху ладони, на этот раз тёплые и мягкие.

– Видали мы и получше! – стараясь казаться как можно больше невозмутимым, ответил я.

– Ах ты, наглец! Да ты ещё и с девкой-то ни разу не целовался. Губошлёп! – она, вынув из-под рубашки одну руку, сверху вниз указательным пальцем провела по моим губам. – Тебя ещё учить надо, кавалер подворотный!

Она так, играючи, между прочим, высказала всю правду и своё отношение ко мне. Но почему-то выслушивать подобное оскорбление из её губ было совсем не обидно.

– Ну, иди, иди, открывай калитку, Казанова!

Я, примерившись к забору, подпрыгнул, уцепился руками за край доски, затем подтянулся, перебросил ногу – и вот я уже во дворе, где так хорошо пахнет парным молоком и коровьим навозом. Запахи, которые в деревне сопровождают каждого человека от самого рождения.

Я соскользнул на соломенную подстилку. Сто раз перелезал, и ничего, а тут – на тебе! Гвоздь распорол штанину почти до самого паха, ободрав кожу. Чертыхаясь про себя, я отодвинул засов и, прихрамывая, вышел через калитку снова на улицу.

Моя подруга почему-то идти домой не спешила. Увидев мою штанину, она так и присела рядом на корточки.

– Ой-ой-ой! Иди, пожалуйста, я тебя пожалею – её рука скользнул снизу вверх по моей ноге. Штанина была располосована почти надвое по самому шву. – Оцарапался бедненький! – она повернула ладонь к луне. Пальцы испачкались кровью.

Откуда-то из-за пазухи она достала надушенный платочек и стала промокать мою царапину:

– У кошки заболи, а у мальчика заживи. У кошки заболи, а у мальчика заживи, – тут же, наклонившись, прикоснулась губами к моей ранке, и трижды сплюнула рядом, в траву.

От её прикосновений со мной случился столбняк в прямом и переносном смысле слова. Так близко меня не трогала ни одна девочка даже в детском саду.

Почувствовав моё напряжение, она со вздохом поднялась с земли, ещё раз задев рукой мою обнажённую ногу, и – выше, как бы невзначай.

От сухости во рту я не мог выговорить ни слова.

Она стояла так близко, заглядывая мне в глаза, что я, кажется, слышал, как стучит её сердце, а может, это моё маленькое ребячье сердце, ещё не знавшее любовного трепета. Её дыхание было сладостным, я ощущал его на своих губах, не смея шевельнуться.

Моя подруга расстегнула блузку, из которой выпрыгнули – другое слово трудно подобрать – груди с тёмными пятнышками сосков. Молодая распутница наклонила мою голову и прижала к себе. Я зарылся в нежную, пахнущую чем-то неведомым, упругую девичью грудь. Я только мотал головой, не смея касаться её тела руками. Грудь закрыли мне дыхание, забили нос, рот, гортань и сами лёгкие. Чтобы не задохнуться, я отпрянул от ночной подруги.

– Цы-ы! – она прижала палец к своим губам. – Я тебе за твою кровь ещё одну штучку дам потрогать. Только ты никому не рассказывай, ладно?

Она взяла одной рукой мою ладонь и подсунула под резинки трусиков. Упрямые волосы и влажная плоть между ними. Влажная и горячая плоть обволокла мои пальцы, слегка скользнув по ним. Мне стало по-настоящему страшно, как будто я вот-вот буду соучастником большого преступления, ограбления или убийства. Как будто стоишь на краю высокой крыши, и вниз смотреть – душа замирает, и взгляда не отведёшь.

Я со стоном вытащил руку и сразу нырнул за дом, в густую и чёрную тень. Сзади послышался короткий и задыхающийся смешок.

Я перевёл дыхание только у своего дома. Казалось, луна, как свидетель той сцены, всюсю хохочет надо мной, раздувая круглые щеки.

До самой осени, до школы я не мог с ней встречаться, и её дом обходил стороной, дурак губошлёпый. Стыдно. Больше двери я ей не открывал, хотя невыносимо хотелось повторить случившееся.

Теперь я уже не тот. Теперь перспектива оказаться с Лялькой, или с какой другой в одной постели меня воодушевила. Я об этом и сам не раз задумывался, а как осуществить – не знал.

– Гони за бутылкой! – видя мой заинтересованный взгляд, присоединился к Мухомуру Бурлак. – Возьмём! Только ты ж у нас не подкачай, сразу полный ход не давай, а мало-помалу – и на фарватер выходи, где красный бакен на стрежне. Главное – не спеши. Как мы начнём, так и ты начинай. Понял?

Я обрадованно кивнул головой, рванув в магазин за водкой. Магазин был уже закрыт, но у сторожа, дяди Митрия, бывшего интеллигентного человека, учителя по образованию, отстранённого от работы за антипедагогическую деятельность, можно всегда отовариться, правда, с небольшой процентной надбавкой в зависимости от времени. «В пользу жертвам алкоголя» – всякий раз говорил он, опуская деньги в карман своего вечного, без износу, пастушьего плаща, с большим, как заплечный мешок, капюшоном, и накладными карманами. Только в зиму под плащ дядя Митрий надевал зелёный, военного времени, бушлат. Видать, бушлату тоже не было износа.

На мой условный стук – два коротких удара по стеклу – из магазина никто не отозвался, только в стекле, на затылке, будто на ветру уголёк, отражённым светом качнулась цигарка. Я испуганно оглянулся назад. За спиной у меня, спокойно потягивая «козью ножку», топтался дядя Митрий.

– Ты кто? – спросил он коротко.

– Я твой шанс, – попытался сострить я.

– Не свисти! Шанс два раза не стучит.

– Ну, тогда ты мой шанс – подыграл я, протягивая сторожу деньги.

– Ночной тариф учёл?

Я утвердительно кивнул головой. Он молча, не считая, сунул деньги куда-то за пазуху, а из объёмистого накладного кармана вытащил заветную бутылку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.